

Содержание

Кира Георгиевна	6
В родном городе	.116
Маленькая печальная повесть	.392



Кира Георгиевна



После третьей или четвертой рюмки начали спорить об искусстве. О том о сем и наконец о том, можно ли считать настоящим произведением искусства неопубликованный роман, повесть или рассказ. Тут мнения раскололись. Одни говорили да, другие — нет. И те и другие очень убедительно. Убедительней же всех Кира Георгиевна. Так, во всяком случае, казалось ей. Ну не все ли равно, напечатан рассказ в типографии или написан от руки в детской тетради. Он есть, он появился, родился — и все! Сколько у этого рассказа читателей — неважно, хотя бы один, хотя бы сам автор, важно, чтоб он был написан.

— Вот я высеку из мрамора твою, Лешка, голову. — Лешка, молодой, задиристый художник, был ее главным оппонентом. — Высеку со всеми ее вихрами во все стороны и оставлю в мастерской, на выставку не дам. Что ж, оттого, что она будет стоять у меня на Сивцевом Вражке, а не на Кузнецком, в выставочном зале, что ж, значит, она уже не произведение искусства? Ерунда!

Все это Кира Георгиевна говорила весело, как всегда напористо, не давая себя перебить. Она любила спорить. Ей доставлял удовольствие сам процесс спора, обстановка его. Прокуренная комната, художники, горящие глаза, все друг друга перебивают. Биение мысли... В этом тоже есть что-то от самого искусства.

— А вообще, дело не в этом, — продолжала она, — не в том, где и как выставлено то или иное произведение,

а в том умении художника, ухватив самое яркое, своеобразное, создать обобщенный образ...

— Ну и так далее. Ясно! Точка! — перебил ее веселый, лохматый Лешка. — А что ты скажешь о Шубине, великом скульпторе Шубине? Обобщал он или нет? А? Каждый его вельможа сам по себе, индивидуален, черт возьми!

— Погоди, погоди...

Но тут все заговорили хором, Кира Георгиевна сбилась, потеряла нить своих рассуждений и потребовала коньяку. От коньяка вдруг захмелела (она больше говорила, что может много выпить) и вышла на балкон.

Внизу до самого горизонта мигала огнями праздничная Москва. Кремль и высотные здания были освещены прожекторами.

«А вот и красиво, — подумала Кира Георгиевна, — даже очень. И Кремль, и высотные здания, и как все это отражается в воде. И черт с ним, что в этих высотных зданиях нет логики. Сейчас они красивы, именно сейчас, — белые среди ночи, колючие. Вот и вся логика. И машины бегают внизу с красными огоньками... Нет, вниз смотреть не надо... — Она отвернулась. В комнате продолжался спор. — И ребята все славные. Хорошие, славные ребята. И Лешка, и Вовка, и Григорий Александрович... Ну, этот, правда, немного болван и работать не умеет, но старик добрый, покладистый. Пил бы только меньше. И Юрочка, кстати, тоже. Он что-то там подсел к этому пьянице Смородницкому, а ему еще домой меня отвозить...»

И потом, в такси, сидя рядом с Юрочкой, она думала, какой он, Юрочка, славный, какой милый и деликатный, как стесняется, вот даже сейчас, хотя бы нечаянно задеть ее рукой. «А ведь я нравлюсь ему, честное слово, нравлюсь», — подумала она, и эта мысль, что она может нравиться простому, здоровому двадцатидвухлетнему парню, была ей особенно приятна. Она искоса посмотрела на него.

Он сидел прямо, положив руки на колени, и через плечо шофера смотрел на бегущий навстречу асфальт.

— Дуешься, Юрочка, а?

Юрочка ничего не ответил. Весь вечер она слегка поддразнивала его, а он, дурачок, обижался. Сначала велела ему снять галстук (у него, мол, красивая шея и незачем этот хомут таскать), и он послушно снял галстук, расстегнул ворот, и все почему-то рассмеялись. Потом при всех стала говорить о лепке его лица, о мужественной линии подбородка, о том, что начала лепить его голову, и тут он совсем смутился. Юрочка вообще всегда смущался в ее компании — он простой электромонтер, а Кирины друзья все художники, скульпторы. Среди них даже несколько заслуженных и один лауреат. От смущения он подсел к Сергею Смородницкому, бывшему моряку, от которого только в третьем часу ночи Кира Георгиевна с трудом его оторвала. Сейчас он дулся. А ей было смешно. И приятно.

У подъезда громадного дома по улице Немировича-Данченко они отпустили такси.

— Я провожу вас наверх, — мрачно сказал Юрочка, — лифт не работает.

— Не стоит, я не боюсь, — сказала Кира Георгиевна, но он, ничего не ответив, вошел в парадное и быстро побежал вверх.

«Славный, хороший, бесхитростный парень, — подумала Кира Георгиевна. — Куда всем Смородницким и Лешкам до него!»

Слегка запыхавшись, она поднялась на шестой этаж. Юрочка стоял, облокотившись о перила, и смотрел в пролет лестницы.

— Ну, спасибо, — сказала она и протянула руку. — До завтра. В одиннадцать прошу, минута в минуту.

Вместо ответа Юрочка решительно притянул ее к себе, неуклюже, крепко поцеловал и так же решительно ринулся вниз.

Первой мыслью Киры Георгиевны было — как хорошо, что не она это сделала, второй — как неприятен запах винного перегара, и только третьей — что завтра Юрочку надо будет отчитать.

Внизу хлопнула дверь.

Кира Георгиевна отворила ключом английский замок. Дома все спали. Она заглянула зачем-то в кухню, потом на цыпочках подошла к комнате Николая Ивановича и слегка приоткрыла дверь. Он, как всегда, сразу же включил свет и приподнялся на своем диване, моргая близорукими глазами.

— Ну как, повеселилась?

— Спи, спи. Повеселилась.

Он надел очки и стал шарить папиросы.

— А Григорий Александрович был?

— Был, был... И зачем ты ночью куришь? Спи.

Он улыбнулся мягкой, виноватой улыбкой и вместо папиросы взял из пепельницы бычок.

— Ну разве это курение? Просто так...

— Вот это «просто так» хуже всего, — сказала Кира Георгиевна и, глядя на его слегка обрюзгшее, с мешками под глазами, доброе лицо, подумала: «Нет, ей-богу, нет на свете человека лучше его». И потом, стоя в своей комнате у раскрытого окна и вдыхая свежий, весенний, совсем не городской воздух, глядя на померкнувшую уже Москву, на четко вырисовывавшийся на востоке силуэт города, она думала, как сейчас хорошо и какой добрый, чуткий, настоящий человек Николай Иванович — ее муж.

2

Жизнь у Киры Георгиевны — или, как ее называли друзья, Кили (в детстве она долго не могла произнести букву «р») — поначалу сложилась как будто весело и легко.

Родилась и жила до войны в Киеве. Отец был врачом-отоларингологом — слово, которое Киля тоже очень долго не могла выговорить, мать, как пишут в анкетах, домохозяйкой. Был еще младший брат Мишка — лентяй, футболист и первый во дворе драчун.

Учась в школе, Киля мечтала стать балериной и ходила даже в балетную студию, потом, поступив в скучнейшую, ненавистную ей торгово-промышленную профшколу («почему-то надо обязательно куда-то поступать»), стала мечтать о карьере киноактрисы — она была стройненькой, с веселыми глазами, кудрявой, подстриженной под мальчика, и профшкольные друзья уверяли ее, что она исключительно фотогенична (в то время очень модным было это слово). В зеркале на ее туалете появились фотографии знаменитых киноартистов тех лет. Одно время она носила даже челочку а-ля Лиа де Путти. Потом она остыла к кино и увлеклась живописью, очень левой, приводившей ее добропорядочных родителей в ужас. На экзамене в художественный институт старика швейцара, позировавшего экзаменующимся, сделала зеленым и под Сезанна. Тем не менее ее приняли — правда, не на живописный, а почему-то на скульптурный факультет.

В институте было весело и не очень утомительно. Приятно было ходить с этюдником, отмывать бензином на платье масляную краску и глину, с профессиональным апломбом рассуждать о колорите, густоте тона, прозрачности теней, восторгаться Матиссом, Гогеном, Майолем, скептически улыбаться, когда упоминали Сурикова или Антокольского. В институте она научилась курить. Там же она влюбилась. Сперва в Сашку Лозинского, своего однокурсника, физкультурника, певца и гитариста, потом в очкастого Веньку Лифшица, писавшего стихи. Венька ввел ее в кружок поэтов. Там оказалось еще веселее. Читали друг другу стихи, свои и чужие, писали пародии, спорили, остряли, бродили ночами по надднепровским

паркам, немножко пили — не столько по охоте, сколько для взрослости. Там же она познакомилась с Вадимом Кудрявцевым.

Все, что ни делала Киля, она делала не задумываясь. Отказывать себе в чем-либо она не любила. Решение принимала сразу и тут же выполняла, родители не успевали даже пикнуть. Как-то вечером она привела в дом высокого, стройного, голубоглазого парня лет двадцати, в зеленой футболке, с копной черных, как у цыгана, волос, падавших на глаза. Представила его как талантливейшего из всех известных ей сейчас поэтов. Тут же, страшно смущаясь, он вынужден был прочесть две свои поэмы — «Муравьиные следы» и «Скучающий бумеранг». Родители, с трудом признававшие даже Блока, растерянно слушали. Киля же не сводила сияющих, восторженных глаз со своего Димки. Через три дня они поженились.

С милым рай и в шалаше. Ей было восемнадцать лет, ему двадцать. Поселились они в крохотной Димкиной комнатке на пятом этаже, которую он снимал, поссорившись с отцом, крупным инженером. Окно комнаты выходило на крышу, но за ней виднелись сотни других крыш, и обоим это очень нравилось — совсем Монмартр, мансарда. «Монмартрскими» казались им и свехлевые Килины упражнения, развешанные по всем стенам, и две черные негритянские маски с оттопыренными губами, сделанные тоже ею. В комнате всегда был дикий беспорядок, везде валялись на обрывках бумаги Димкины стихи, а одно было написано прямо на стене.

Кроме стихов, у Вадима была еще кинофабрика. Работал он там ассистентом режиссера, хотя никакого специального образования не имел, просто был молод, предприимчив и любил кинематографическую суету. Киля тоже любила суету. И артистов любила, и свет «юпитеров», и ночные съемки, на которые стала ездить вместе с Вадимом, и заезды в ночной «Континенталь» — одним словом,

все то, что на пресном языке ее родителей называлось страшным словом «богема».

Занятия в институте были почти совсем заброшены. Их вытеснила лепка и стройка каких-то декораций в громадном павильоне кинофабрики. Кроме удовольствия и кое-каких денег, это давало возможность познакомиться с такими людьми, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. С Эйзенштейном Киля как-то завела даже полемику на одном из его докладов. Одним словом, было весело и хорошо. Все это происходило в тридцать шестом году. Через год Вадима арестовали.

Симпатичную «монмартрскую» комнату опечатали. Киля вернулась к родителям. Дома царил траур. Несколько раз Килю вызывали в большой серый дом на улице Короленко и говорили о Димке страшные вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже несколько раз приглашали на собеседование и через месяц исключили. Началось хождение по каким-то учреждениям. Отец взял отпуск за свой счет и поехал с Килей в Москву. Через год Килю восстановили, но не на ее курсе, а курсом ниже.

Первые недели и даже месяцы после ареста Вадима Киля ходила сама не своя. Все было так неожиданно, так страшно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал колчан свой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг — враг народа...

Через год или полтора после его ареста пришло от него письмо. Как и откуда оно было отправлено — неизвестно, но на конверте был штемпель Москвы, и адрес написан незнакомой рукой. В письме было всего несколько строчек — жив, здоров, а кроме того, сказано, что она может не считать себя его женой, он дает ей свободу. Вот и все. «Целую. Твой Димка». Написано на обрывке бумаги торопливым кривым почерком. Больше о нем она ничего не слыхала.

Наложили ли все эти события какую-либо печать на Килю? И да, и нет. Беспечная, жившая как бы на поверхности жизни, весело скользившая по ней, Киля вдруг поняла, что, кроме шумных вечеринок и чтения стихов, кроме милых рисуночков, развешанных по стенам, есть нечто более сложное, важное, не всегда понятное и, увы, не всегда приятное. Но у нее был завидный характер, она умела быстро забывать то, что осложняет жизнь. Возможно, это и не лучшая черта человеческого характера, но Киле самой и ее окружающим эта черта облегчала жизнь. Через три года, в эвакуации, она помогла Кире — теперь ее все реже звали Килей, — ее матери и младшему брату жить в тех не слишком легких условиях, в которых они жили, помогла пережить и смерть отца. Короче, Кира умела не унывать. Она работала в местной газете, снабжая ее карикатурами на Гитлера и Геббельса, писала лозунги в клубе, плакаты для кинотеатра, преподавала рисование в первых классах, стояла в очередях, носила пайки, а иногда по ночам растаскивала вместе с соседями деревянные заборы на дрова. Все это она делала легко, и если не всегда с удовольствием, то никогда не хныча.

О Вадиме она всегда помнила — две его карточки, одна серьезная, паспортная, другая, где он снят делающим стойку на пляже, висели у нее над кроватью, — но, что говорить, время прошло, и первоначальная острота потери притупилась. Как ни странно, чаще вспоминала о Вадиме Софья Григорьевна, Кирина мать, в свое время называвшая его «этот тип», и младший брат Мишка, влюбившийся по уши в своего зятя или шурина (никто толком не знал, кем он ему приходится), научившего его плавать, прыгать в воду вниз головой, соскакивать с трамвая на полном ходу, а главное, курить.

Прошло еще пять лет. В сорок шестом году, в Алма-Ате, Киля познакомилась с Николаем Ивановичем Оболенским, профессором художественного института, и еще

через год уехала с ним в Москву. Несколько позже переехала туда же и Софья Григорьевна с Мишкой.

Бедные матери, как трудно им ко всему привыкать. Куда труднее, чем детям. И как не могла Софья Григорьевна сразу привыкнуть к тому, что их маленькая Киля стала вдруг женой какого-то никому не известного человека в зеленой футболке, от которого пахло табаком, а иногда и водкой, так же трудно было ей свыкнуться с мыслью, что Киля ее вышла замуж за Оболенского. Вадим все-таки был почти ровесником Кили, и, как говорили соседки, они «чудесная пара». И вообще, как вскоре выяснилось, при всем своем легкомыслии Вадим был добрый, веселый, услужливый и, главное, любил Килю. И она его. И Софья Григорьевна полюбила его тоже. А Оболенский? Седой, лысый, пожилой вдовец с брюшком, с диабетом, всегда обсыпанный пеплом, молчаливый, тихий. Правда, известный и состоятельный. Неужели Киля позарилась на положение, на деньги, связи? Не может быть...

3

Кире Георгиевне шел сорок второй год, но, как ни странно, она этого не чувствовала. Она по-прежнему была стройна (особое удовольствие ей доставляло, когда на улице или в магазине ее называли «девушка»), по-прежнему любила пляж, плавание, греблю (к сожалению, на это теперь оставалось очень мало времени). Она не думала, в отличие от своих приятельниц, ни о какой диете, сохраняющей фигуру, не жаловалась на сердце, головные боли. Волосы, правда, она уже подкрашивала, и, нужно сказать, довольно тщательно, чтоб не было видно седеющего пробора, но во рту были только две золотые коронки, в самой глубине, видные только, когда она смеялась, и лицо было свежее, почти без морщин — посторонние давали ей никак

не больше тридцати двух — тридцати трех лет. Но главное не это. Главное, что она умудрилась за эти годы не потерять то, что с возрастом обычно исчезает, — она осталась такой же увлекающейся в работе, какой была и в двадцать лет. Но, кроме того, она приобрела и нечто новое — и, скажем прямо, для друзей ее неожиданное: она научилась работать. И в этом ей очень помог Николай Иванович Оболенский.

Он был старше Кили более чем на двадцать лет. Родился еще в девятнадцатом веке. К началу революции ему минул двадцать первый год. Как и все молодые художники того времени, он с увлечением рисовал гигантские плакаты с рабочими и красноармейцами, дающими в рыло Деникину, Врангелю, Пилсудскому. Потом увлечение плакатом прошло. Благодаря своему отцу, тоже художнику, учившемуся в Академии вместе с Кустодиевым и Малявиным, он попал в руки к Нестерову и к концу тридцатых годов стал довольно уже известным художником. В годы Отечественной войны удостоен был Сталинской премии. Через некоторое время он был избран членом-корреспондентом Академии художеств.

Как ни странно, несмотря на все эти звания, он по-прежнему оставался скромным, даже застенчивым человеком, любящим свою работу, кисти, мольберты, краски, своих студентов и ту общественную деятельность — он был членом всевозможных жюри и выставок, — которой отдавался с охотой и великой добросовестностью. Больше у него ничего не оставалось: жена умерла еще до войны, а сын, лейтенант-артиллерист, погиб под Москвой в октябре сорок первого года.

Когда Кили впервые пришла к Николаю Ивановичу (это было еще в Алма-Ате, она была тогда агитатором), вид его комнаты ужаснул ее. Портреты, рисунки, немытая посуда, кастрюли — все вперемешку, и среди этого первозданного хаоса мраморная копия гудоновского Вольтера,

иронически поглядывавшая с высоты полуживого гардероба на весь этот развал. Возможно, этот хитрый, мудрый старец и сосватал немолодого профессора с то же уже не совсем молодой недоучившейся студенткой.

Институт она закончила уже в Москве, поселившись в полупустой квартире Николая Ивановича. Кое-кто многозначительно по этому поводу улыбался и подмигивал, но Кира Георгиевна (теперь уже ее так называли) говорила: «Плевала я на это». О дипломной работе ее, получившей отличную оценку, даже старик Матвеев сказал: «У этой шальной девицы что-то есть...» А многозначительные улыбки, переглядывания? Плевала она на это!

Да, у нее старый муж. Но она его любит. Смейтесь сколько угодно — любит. Да, он стар, он часто болеет, у него диабет, гипертония, больное сердце, он беспомощен и беззащитен во всем, что не касается его искусства, в искусстве же, слава богу, не знает никаких компромиссов. Он ни к кому никогда не приспосабливается, и если голосует «за» или «против» такого-то, то потому только, что он сам «за» или «против» такого-то, а не по каким-либо другим причинам. Студенты любят и уважают его, а они-то знают, кого надо, а кого не надо любить и уважать. Да, у него дача в Красной Пахре, но купили ее главным образом потому, что Мишка женился и совсем нехстати обзавелся сразу двойней. Да, ее муж стар и не очень красив, у него лысина, брюшко, но с ним легко и просто, он все понимает с полуслова, он удивительно деликатен, он понимает, что у Кили есть свои интересы, свой круг друзей. Ну вот хотя бы Юрочка. Молодой красивый натурщик третий месяц позирует ей для скульптуры «Юность». Другой на месте Николая Ивановича не относился бы так легко к этому, а он, напротив, очень любит Юрочку, приветливо его встречает, пропускает с ним даже рюмочку-другую коньяку. Он прекрасно понимает, что для Киры Юрочка только мальчик с хорошо

развитой мускулатурой, которую так приятно лепить, славный, немного неотесанный мальчик, с которым они познакомились в прошлом году на пляже, когда у них испортилась моторка. Юрочка довольно долго возился с их заглухшим мотором, и тогда же, профессионально оценив его подтянутую мальчишескую фигуру, Кира Георгиевна записала его служебный телефон — он работал монтером в каком-то СМУ. Потом подвернулся заказ для сельхозвыставки, она позвонила Юрочке и убедила попозировать ей, хотя он и сопротивлялся, считая, как и большинство людей, что в этом занятии есть что-то недостойное. Вот и все. Теперь он ходит к ней три раза в неделю после работы и позирует ей. И Николай Иванович все это прекрасно понимает. И она понимает — ей все-таки уже перевалило за сорок, к Юрочке у нее чисто материнское чувство, а поддразнивает она его просто потому, что он всегда очень мило, по-детски смущается и обижается. Мальчишка еще. Совсем ведь мальчишка. Взял вдруг и поцеловал ее на лестнице. Что у него, своих девушек нет? И поцеловал-то как медведь. Стиснул своими ручищами, чуть шею ей не свернул.

«Да, надо все-таки его отчитать, — подумала Кира Георгиевна и закрыла окно: становилось прохладно, — и серьезно отчитать. Мальчишка все-таки...»

4

Следующее утро было солнечным и голубым. Кира Георгиевна проснулась раньше обычного — обычно она вставала часов в девять, половине десятого — и застала Николая Ивановича еще в столовой: он вставал рано и завтракал всегда один.

— Ты что-то плохо выглядишь сегодня, — сказала она, подходя к нему и целуя в лоб.

— Возраст такой, — ответил Николай Иванович, вставая. — Всю ночь чего-то ворочался. И сны всякие дурацкие. — Он закурил. — Ты работаешь сегодня?

— Работаю. А что?

— Да ничего. Просто подумал — праздник, весна... Мало мы воздухом дышим.

— Мало. Но я уже условилась с Юрочкой. А позвонить ему некуда.

— Ну, раз условилась...

Кира Георгиевна прошла в ванную.

Холодный душ согнал последние остатки вчерашнего хмеля. Все показалось сейчас смешным и забавным. И этот спор об искусстве, и восторженные Лешкины — главного ее оппонента — тосты за «творческий» и против «коммерческого» реализма, и смешной обидевшийся Юрочка, его детская выходка на лестнице. Нет, не надо его отчитывать, надо просто с улыбкой сказать, что она старше его на двадцать лет и что ей, в ее возрасте... Нет, не надо. Просто пожурить: «Ай-ай-ай, Юрочка». А может, и совсем промолчать, как будто ничего не было.

В мастерскую — она находилась на Сивцевом Вражке — Кира Георгиевна пошла пешком. Дойдя до Никитских ворот, она решила, что Юрочку все-таки надо отчитать. Собственно говоря, надо было сделать это еще вчера, но поскольку она вчера, растерявшись, не сделала этого, надо сегодня... Выйдя на Арбат, она передумала. В самом деле, смешно всерьез принимать вчерашнее происшествие. Просто глупо.

Так и не приняла она никакого решения.

Юрочка ждал ее уже около получаса. Сидел у окна на старом скрипучем диване и листал «Огонек». Вид был мрачный.

— День-то сегодня какой, настоящая весна, — весело сказала Кира Георгиевна, входя, и тут же окончательно поняла, что отчитывать его не будет, раз с этого прямо не начала.